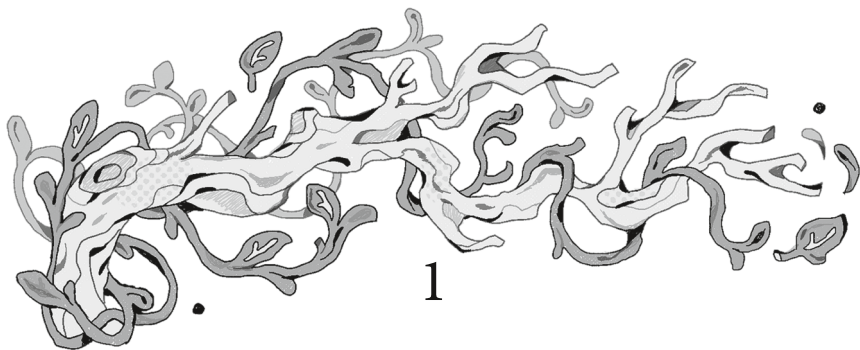




БЕРЕГИСЬ КАНЦЕЛЯРИТА!

ОТКУДА ЧТО БЕРЕТСЯ?

Молодой отец строго выговаривает четырехлетней дочке за то, что она выбежала во двор без спросу и едва не попала под машину.

— Пожалуйста, — вполне серьезно говорит он крохе, — можешь гулять, но *поставь в известность* меня или маму.

Сие — не выдумка фельетониста, но подлинный, ненароком подслушанный разговор.

Или еще: бегут двое мальчишек лет по десяти-двенадцати, спешат в кино. На бегу один спрашивает:

— А билеты я тебе *вручил*?

И другой, пыхтя, отвечает:

— Вручил, вручил.

Это — в неофициальной, так сказать, обстановке и по неофициальному поводу. Что же удивляться, если какой-нибудь ребяенок расскажет дома родителям или тем более доложит в классе:

— Мы ведем борьбу за повышение успеваемости...

Бедняга, что называется, с молодых ногтей приучен к канцелярским оборотам и уже не умеет сказать просто:

— Мы стараемся хорошо учиться...

Одна школьница, выступая в радиопередаче для ребят, трижды кряду повторила:

— Мы провели большую работу.

Ей даже в голову не пришло, что можно сказать:

— Мы хорошо поработали!

Не кто-нибудь, а учительница говорит в передаче «Взрослым о детях»:

— *В течение* нескольких лет мы *проявляем заботу* об этом мальчике.

И добрым, истинно «бабушкиным» голосом произносит по радио старушка-пенсионерка:

— Большую помощь мы оказываем детской площадке...

Тоже, видно, привыкла к казенным словам. Или, может быть, ей невдомек, что для выступления по радио эта казенщина необязательна. Хотя в быту, надо надеяться, бабушка еще не разучилась говорить попросту:

— Мы *помогаем*...

Можно, конечно, заподозрить, что тут не без вины и редактор радиовещания. Но ведь и редактор уже где-то обучен такому языку, а вернее сказать, им заражен.

Впрочем, случается и в быту... На рынке немолодая чета сообщает, купить ли огурцы.

Милая старушка говорит мужу:

— Я ведь почему спрашиваю, ты же сам вчера *ставил вопрос о солке огурцов...*

Детишкам показывают по телевидению говорящего попугая. Ему надо бы поздороваться со зрителями, а он вдруг «выдает»:

— Жрать хочешь?

— Что ты, Петя! Так не говорят.

А попугай опять свое...

Попугай — он и есть попугай: что слышал, то и повторяет. Ну а мы, люди? Мы сетуем: молодежь говорит неправильно, растет не очень грамотной, язык наш портится, становится бедным, канцелярским, засоренным. Но ведь ученики повторяют то, что слышат от учителей, читатели — то, чем изо дня в день питают их литераторы и издатели.

На кого же нам пенять?

Отлично придумано — по радио учить ребят правильной речи. Мол, неверно сказать: «На субботник пойдут *где-то* триста человек». Не стоит «заменять точное слово *приблизительно* неправильным *где-то*». Справедливо. Хотя еще лучше, думается, было бы не *точное* слово, а *верное* (уж очень плохо сочетается «точное» с «приблизительно»). И лучше и верней было бы, пожалуй, не длинное «приблизительно», а короткое «примерно». Но это уже мелочи. А беда в том, что следом диктор произнес ни много ни мало: «Такие замены не *способствуют пониманию вас вашими собеседниками!*»

Дали хороший, добрый совет, исправили одну ошибку — и тут же совершили другую, много хуже, подали пример чудовищного уродования речи. Ибо и сами эти тяжеловесные слова, и неестественный, невразумительный строй фразы — все это казенщина и уродство.

Где же, где он был, редактор передачи? Почему не поправил хотя бы уж так: «Такие замены *не помогают собеседникам вас понять?*»

Неужто не легче и не лучше? А тем более — когда тебя слушают миллионы ребят, которых ты хочешь научить говорить правильно!

Считается несолидным в газетной статье или очерке написать, к примеру: *мы решили* больше не пытаться...

Нет, непременно напишут: мы приняли решение прекратить попытки...

Или о работе экипажа космической станции: *«Проводился забор (!) проб* выдыхаемого воздуха». Этот *забор* не залетел бы в космос, если бы не стеснялись сказать попросту: космонавты *брали пробы*. Но нет, несолидно!

И вот громоздятся друг на друга существительные в косвенных падежах, да все больше отглагольные:

«Процесс развития движения за укрепление сотрудничества».

«Повышение уровня компетенции приводит к неустойчивости».

«Столь же типовым явлением является мотив мнимой матери».

«...блуждание в... четвертом измерении... окончательное поражение, когда подвергаешь сомнению свое... существование»!

«...с полным ошеломления удивлением участвовал он мгновение назад в том, что произошло...»

Это не придумано! Это напечатано тиражом 300 тысяч экземпляров.

Слышишь, видишь, читаешь такое — и хочется снова и снова бить в набат, взывать, умолять, уговаривать: *берегись канцелярита!*

Это — самая распространенная, самая злокачественная болезнь нашей речи. Много лет назад один из самых образованных и разносторонних людей нашего века, редкостный знаток русского языка и чудодей слова Корней Иванович Чуковский заклеил ее точным, убийственным названием. Статья его так и называлась «Канцелярит», и прозвучала она поистине как SOS. Не решаюсь сказать, что то был глас вопиющего в пустыне: к счастью, есть

рыцари, которые, не щадя сил, сражаются за честь Слова. Но, увы, надо смотреть правде в глаза: канцелярит не сдается, он наступает, ширится. Это окаянный и зловредный недуг нашей речи. Сущий рак: разрастаются чужеродные, губительные клетки — постылые штампы, которые не несут ни мысли, ни чувства, ни на грош информации, а лишь забивают и угнетают живое, полезное ядро.

И уже не пишут просто: «Рабочие *повышают* производительность труда», а непременно: «...*принимают активное участие в борьбе за повышение* производительности труда».

Давно утвердился штамп: ведут борьбу за повышение (заметьте, не борются, а именно ведут борьбу!). Но вот метастазы канцелярита поползли дальше: участвуют в борьбе за повышение — и еще дальше: принимают активное участие в борьбе за повышение...

Таким примерам нет числа. Слишком много пустых, бессодержательных, мертвых слов. А от них становится неподвижной фраза: тяжеловесная, застойная, она прямо противоположна действию, о котором говорит, чужда борьбе, движению, содержательности, экономности. Суть ее можно выразить вдвое, втрое короче — и выйдет живей и выразительней.

Вот тут бы и вмешаться редактору, выбросить все лишнее... Нет, куда там, вдруг выйдет «несолидно»!

А чем больше длинных, казенных слов, косвенных падежей, придаточных предложений, тем, видите ли, солиднее... И уже не разберешь, что с чем связано и что для чего нужно. Да и не нужно тут больше половины! Пять длинных слов да два коротких — там, где хватило бы *одного* слова, причем — что очень важно — *одного глагола*!

Сколько бумаги понапрасну занимают лишние, мертвые слова. А сколько драгоценных радиоминут уходит на них впустую!

Нет, слова-канцеляризмы, слова-штампы небезвредны. Пустые, пустопорожные, они ничему не учат, ничего не сообщают и, уж

конечно, никого не способны взволновать, взять за душу. Это словесный мусор, шелуха. И читатель, слушатель перестает воспринимать шелуху, а заодно упускает и важное, он уже не в силах докопаться до зерна, до сути. Вывеска на московской улице *«Швейно-пошивочная (?) мастерская»* — на совести того, кто ее заказал, и видят ее все же немногие. Но по московской радиосети изо дня в день объявляют, что такие-то ателье обслуживают *«население, проживающее»* в таких-то районах, — это уже чудовищно. Видно, невдомек «авторам», что население — это и есть те, *кто проживает*, то есть *население района*, а лучше бы просто — *жители района*.

Читают газеты, слушают радио — миллионы. Они верят: раз уж так пишет газета и вещает радио, стало быть, так можно, так правильно.

Радио сообщает: «В Ульяновске *продолжает работу* международная встреча, посвященная...»

Чуть позже сообщили правильно: «В Ульяновске *закончилась встреча...*» А в следующем же выпуске снова: «...*закончила свою работу встреча...*»

А через годик попробует иной редактор запротестовать, вычеркнуть откуда-нибудь это самое *«встреча продолжает работу»*, и ему возразят:

— Но ведь это вошло в язык!

Немало таких словесных уродцев уже «вошло», непоправимо «вошло» — не выгонишь! Миллионы доверчивых читателей, зрителей, слушателей завтра подхватывают канцелярский да в придачу безграмотный оборот. И вот пошло все шире и привилось в обиходе, и уже не поспоришь, и мало кто помнит, что это неверно. Поистине, не из гуши народной пошло, не народом-языкотворцем создано, а ввели, насадили не шибко грамотные газетчики или редакторы. В лучшем случае — нечаянно насадили, повторили и внедрились чью-то оговорку.

Люди всех возрастов и профессий, ораторы и педагоги, авторы и переводчики не только научных трудов, но — увы! — и очерков, романов, подчас даже детских книжек словно оглохли и ослепли. И вот уже не только неопытные новички, не только безграмотные, случайные полулитераторы или откровенные халтурщики, но подчас и литераторы опытные, одаренные, даже признанные корифеи пишут — и притом в переводе художественном: «В течение бесконечно долгих недель (героя романа) мучили мысли, *порожденные состоянием* разлуки!»! А не проще ли, не лучше ли хотя бы: «Нескончаемо долгие недели (много долгих недель) его мучили мысли, рожденные разлукой (мучила тоска)»?

Или: «Он находился в состоянии полного упадка сил». А разве нельзя: «Он совсем ослабел, обессилел, лишился последних сил, силы оставили его, изменили ему»?

А уж не корифеи...

«Он владел домом в одном из... предместий, где *проживал* с женой и детьми» — прямо справка из домоуправления, а не слова из романа!

«Да и кто принимает любовника в митенках? Ведь это *создаст неудобства*!»! Совсем как табличка в подъезде: «Берегите лифт, он создает удобства».

Из «художественного» перевода: «...совсем *особый характер* моря: с этим последним происходили какие-то быстрые перемены»; «...волос, зажатый между большим и указательным пальцами, свисал без малейшей возможности уловить его колебание»; «Порывы ветра превосходили своей ужасностью любую бурю, *виденную мною ранее*»; «Обособленное облако, которое заслуживало внимания...»

Так и напечатали! И покорнейше прошу помнить: в этой книжке нет выдуманных примеров, все — подлинные.

Из радиопередачи, да не какой-нибудь, а под названием «Портрет поэта»: «Поистине счастливым поэт может *считать себя*, когда он чувствует *свою необходимость* людям». Отчего бы не сказать по-людски: «Поистине счастлив поэт, когда чувствует, что нужен людям»?

Или в очерке о Хемингуэе: «Он *понимаем нами* потому...» — вместо «Мы *понимаем его*...».

В живом, хорошем очерке вдруг читаешь: «Горы должны делать человека сильнее, добрей, душевней, талантливей... И они *совершают этот процесс*»! Судите сами — плакать или смеяться.

Из переводного романа:

«Он был во власти странного оцепенения, точно все это происходило во сне и вот-вот наступит пробуждение... Одолев столько кризисов, он словно утратил способность к эмоциям. Воспринимать что-то он еще мог, но реагировать на воспринимаемое не было сил».

А ведь можно сказать хотя бы:

«...Странное чувство — будто все это не на самом деле, а на грани сна и яви. Он словно оцепенел, после пережитого не хватало сил волноваться. Он был теперь ко всему безучастен».

Уж наверно, никто не жаждет уподобиться знаменитому чеховскому телеграфисту, о котором памятно сказано: «Они хотят свою образованность показать, всегда говорят о непонятном». И однако многие, нимало не смущаясь, пишут: «Очарование (героини) *состоит в органичности ее контрастов*»! И это не перевод!

«...Холод, как и голод, не служил для них *предметом* сколько-нибудь *серьезной заботы* — это был один из неотъемлемых элементов их быта».

Это не официальная информация и не ученая статья, а хоть и научно-фантастический, но все же роман. Речь идет о дикарях, о первобытных людях. И право, ни суть сказанного, ни научность, ни фантастичность, ни читательское восприятие не пострадали бы,

если написать: «...Холод, как и голод, мало их заботил — они издавна к нему привыкли» (или, скажем: «Другой жизни они никогда и не знали»).

Зачем писать: «...Авторитет мой возрос. Или если не авторитет, то, во всяком случае, внимание, с каким относились ко мне окружающие и которое слегка напоминало благоговейный страх здоровых людей, прислушивающихся к мнению явно недолговечного человека»?

Ни мысль, ни выразительность, право, ничего бы не утратили, скажи переводчик хотя бы: «...Я сразу вырос в глазах окружающих. Во всяком случае, ко мне стали прислушиваться с каким-то суеверным почтением — так здоровые люди слушают того, о ком известно, что он не жилец на этом свете».

«Сейчас было непохоже, чтобы она стала иронизировать, сейчас она была слишком серьезна, да, именно так, ее взгляд был серьезным; то, что он принял за пустоту, было отсутствием ее привычной веселости, это и делало ее лицо таким незнакомым, таким чужим. Он же должен был сейчас открыться ей, ведь именно этого требовал ее взгляд, он должен был говорить, объяснять, но разве это возможно перед таким чужим лицом, не обнаруживающим никакой готовности к пониманию?»

Тяжело, невнятно, скучно... а ведь это о человеческих чувствах, о трудном переломе в отношениях людей! Не лучше ли было хоть немного прояснить фразу? Хотя бы: «...Да, именно так, она смотрела серьезно, взгляд был не пустой, нет, но ему не хватало привычной веселости, оттого ее лицо и стало таким незнакомым... Надо сейчас открыться, этого и требует ее взгляд, надо говорить, объяснять... но как объяснить (или: но разве это возможно), когда у нее такое чужое (отчужденное), замкнутое лицо (или: когда по лицу ее сразу видно, что она вовсе не хочет услышать его и понять)»...

Отрывки эти взяты из разных переводных романов, переводили их разные люди, с разных языков. Но дело не в переводе: сами подлинники вовсе не требуют такого сухого, канцелярского стиля и строя фразы. Дело в отношении *к русскому языку, к русской речи*. Подобного сколько угодно и у авторов, пишущих по-русски.

У нашего современного прозаика читаем: «Этот маленький, щуплый человечек сразу как-то преобразается, глаза становятся колючими, волосы *кажутся ставшими дыбом*».

У другого: «*Дочерчивание* линии происходит с *тщательностью* чертежника-ученика, высунувшего язык от старания».

Кто-то может, точно ученик, высунуть от усердия язык, но как представить *дочерчивание* с высунутым языком?

Ребенок поцеловал усталую мать — и «в лице (ее) появилось какое-то неуловимое *просветление*». Очевидно, лицо ее просветлело?

И даже у талантливого мастера герой оказывается «*в состоянии неудовлетворенного возмездия*», как будто мучается тем, что *не получил возмездия!* А ведь смысл — что его сжигает, терзает, мучит жажда мщения (мести)!

Так что же он такое, канцелярит? У него есть очень точные приметы, общие и для переводной, и для отечественной литературы.

Это — вытеснение глагола, то есть движения, действия, причастием, деепричастием, существительным (особенно отглагольным!), а значит — застойность, неподвижность. И из всех глагольных форм пристрастие к инфинитиву.

Это — нагромождение существительных в косвенных падежах, чаще всего длинные цепи существительных в одном и том же падеже — родительном, так что уже нельзя понять, что к чему относится и о чем идет речь.

Это — обилие иностранных слов там, где их вполне можно заменить словами русскими.

Это — вытеснение активных оборотов пассивными, почти всегда более тяжелыми, громоздкими.

Это — тяжелый, путанный строй фразы, невразумительность. Несчетные придаточные предложения, вдвойне тяжеловесные и неестественные в разговорной речи.

Это — серость, однообразие, стертость, штамп. Убогий, скудный словарь: и автор, и герои говорят одним и тем же сухим, казенным языком. Всегда, без всякой причины и нужды, предпочитают длинное слово короткому, официальное или книжное — разговорному, сложное — простому, штамп — живому образу. Короче говоря, канцелярит — это мертвечина. Он проникает и в художественную литературу, и в быт, в устную речь. Даже в детскую. Из официальных материалов, из газет, от радио и телевидения канцелярский язык переходит в повседневную практику. Много лет так читали лекции, так писали учебники и даже буквари. Вскормленные языковой лебедой и мякиной учителя в свой черед питают той же сухомяткой черствых и мертвых словес все новые поколения ни в чем не повинных ребятишек.

Так нахально «входят в язык» все эти канцеляризмы и штампы, что от них трудно уберечься даже очень неподатливым людям, и тогда, как бы защищаясь, они выделяют эти слова иронической интонацией.

Вот горькие, но справедливые строки из письма одной молодой читательницы автору этой книжки: «Мы почти не произносим открытого текста, мы не строим больше нашу речь сами, а собираем ее из готовых стандартных деталей, но подчеркиваем “кавычками”, что делаем это сознательно, что понимаем все убожество нашего материала. Мы повторяем те же ненавистные

штампы, выражая свое отношение к ним лишь негативно, ничего не создавая взамен».

Думается, это — голос того поколения, перед которым виноваты мы, старшие. Но и в этом поколении уже не все понимают, что утрачено. А что же достанется внукам?

Ох, как хочется в иные минуты кричать «караул»!

Люди добрые! Давайте будем аккуратны, бережны и осмотрительны! Поостережемся «вводить в язык» такое, что его портит и за что потом приходится краснеть!

Мы получили бесценное наследство, то, что создал народ за века, что создавали, шлифовали и оттачивали для нас Пушкин и Тургенев и еще многие лучшие таланты нашей земли. За этот бесценный дар все мы в ответе. И не стыдно ли, когда есть у нас такой чудесный, такой богатый, выразительный, многоцветный язык, говорить и писать на канцелярите?!

ЖЕЧЬ ИЛИ СУШИТЬ?

Не всякий пишущий способен глаголом жечь сердца людей. Но, казалось бы, всякий писатель к этому стремится. А для этого *глагол* — то есть *слово* — должен быть жарким, живым.

Быть может, самое действенное, самое взволнованное слово в нашем языке — как раз глагол. Быть может, неслучайно так называется самая живая часть нашей речи.

Громоздкими канцелярскими оборотами жечь сердца, затронуть душу довольно трудно.

Обилие существительных, особенно отглагольных, тяжелит и сушит речь. Фраза со многими косвенными падежами неуклюжа и не доходчива. Причастия и деепричастия, слова вроде *вращающиеся*,



[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:



[Mifbooks](#)



[Mifbooks](#)



[Mifbooks](#)